

Цыганка

рассказ

Он и человек разумный, и врач неплохой, мы хотим лечиться у таких, если что.

Врач, две работы — денежная и интересная. На интересной он думает: настоящая работа, врачебная, денег только не платят. А человек он молодой, ему нужны деньги. Маленькие дети, сиделка для бабушки, машина ломается, много желанных предметов, много всего вокруг, не стоит и объяснять. Но дольше, чем на несколько секунд, он о деньгах не задумывается. Нужны — и всё.

Денежная работа вызывает, напротив, долгие размышления. Я небесталаный, думает он, молодой — бабушка жива, разумеется, молодой, — многое надо успеть, на что я жизнь трачу? Он знает, на что ее тратить: жить, думать, чувствовать, любить, свершать открытия. Отец ему говорил, назидательно, тяжело: занимайся тем, что имеет образ в вечности. И стихи читал, другие и эти. Давно это было, больше десяти лет уже, как нет отца.

Интересную работу его вообразить легко: смотреть больных в клинике, радоваться, когда помог, сделал что-нибудь новое, диагноз редкий поставил, огорчаться — ну тоже, конечно, — когда больные умирают или приходится много писать. Того и другого хватает: скорпомощная больница, дежурства, но он хороший врач, мы уже говорили.

Кое-как платят и здесь: благодарные больные, их родственники. Гонораров себе он не назначает: мало ли что — все, он — не все.

Денежную работу представить себе сложнее. Вот что это: возить за границу больных эмигрантов. Есть такая организация — отправляет людей насовсем в Америку, под присмотром. Евреи, баптисты, бакинские армяне, курды, странные люди — куда они едут, и как это все работает? Люди странные и занятие странное — возить их, но хорошо платят: шестьсот долларов за перелет.

И вот сегодня, в пятницу, — передать дежурство, забрать медицинские причиндалы, попасться на глаза начальству и к часу — в аэропорт, в Америку лететь, в который раз? — он давно уже сбился со счета. Быстренько сдать больного — да, надо еще из Нью-Йорка долететь до конечного пункта, на этот раз близко — Портленд, там его встретят друзья: два часа — и они уже в Бостоне, и в Америке все еще пятница. Деньги заплатят в Нью-Йорке, с больным

он расстанется в Портленде, друзья — муж с женой, его однокурсники, рано поженились, рано уехали, любимые, надежные — не дадут истратить ни цента, а утром отвезут его прямо в Нью-Йорк — как раз туда собирались, они любят Нью-Йорк, они любят все, что идет их с ним дружбе на пользу. Будет суббота. Он вернется домой в воскресенье, выспится — и на работу, главную, интересную. Так каждый месяц.

Но когда он собрался уже идти, выходит заминочка — Губер. Больную одну надо глянуть. Губер — заведующий коммерческим отделом — обидчивый, вялый, мстительный, в сознании врачей — вор. От коммерческих больных — одни неприятности, а деньги все равно не врачам идут. Заметьте, Губер просил не сам, а через медсестер. Сам бы он выразился в том духе, что вам, мол, все равно делать нечего, так что посмотрите пациентку, пожалуйста.

Он посмотрит, но быстро. Где она? — в коридоре.

Сестра, тихо:

— Цыганка.

Он цыганку одну уже полечил месяца два назад. Странная была женщина, нетипичная. Сестры предупреждали: поосторожнее с ней. Молча разделась — по пояс, как велено, без обычных вопросов: «Бюстгальтер снимать?» Торжественность и презрение. Молча повернулась на левый бок, когда надо было. Без шуршания женского, безо всяких фру-фру, без «Ой, это сердце мое так булькает?» Очень резко взяла заключение. Чувствовалось: ненавидит она их, — слово в голову пришло — вертухаев. Раз в форме, пускай в медицинской, в халатах, в пижамах, то кто же они? — вертухаи. Куда она так торопится? Сестра объяснила: женщина в микрорайоне известная, наркотики продает. Сестры всё знают, они ведь живут тут, им удобней работать по месту жительства. Так что торопится женщина — дело делать. Сын у нее еще — взрослый, девятнадцать лет, не в его дежурство это было, — умер. Вот отчего такая торжественность. Ладно, ничего серьезного, да и цыганка она какая-то ненастоящая. Худая, стриженная. С фамилией искусственной — что-то такое, как будто русское, цирковое. Замужем, интересно? Сестры и это знают: первый — повесился, нынешний муж — без ног, попрошайка. Честно говоря, достали эти несчастья. Ну, врач не должен так думать, тем более — говорить.

Сегодня другая цыганка. Та была относительно молодая, эта — старая.

— Что у них с нашим Губером? — удивляется медсестра. — Всей правды мы никогда не узнаем.

— Зовите ее, быстро только.

Суетливая бабка с невнятной речью, рыжие, неаккуратно крашенные волосы, руки грубые, отеки вокруг перстней, отеки лица, ног. Пестро одета бабка, наши не так одеваются.

Сестра ворчит: вот укуталась!

— Тепло уже, бабушка, апрель!

И что, что апрель? — ей всегда холодно.

Что ее беспокоит? Они спешат.

Цыганка мямлит, не разберешь. Сколько ей лет? Она и возраст назвать своей не может!

— Бабка, ты не в гестапо, — взрывается медсестра, — говори!
Нельзя так с больными, особенно — коммерческими, от Губера.
Им надо записать ее год рождения.
— Пиши — двадцатый...
— А на самом деле какой?
— Двадцать восьмой напиши... Тридцатый.
По документам — двадцатый, но не выглядит цыганка на семьдесят девять.
Что за галиматья? «Галиматня», — говорит Губер, он из Молдавии. Его не поправляют, а за глаза смеются.
Спросим: сколько ей было во время войны? Не помнит. — Какой войны? — Войну не запомнила? Да где она жила?
Отвечает:
— В лесу.
— В лесу? Что делала?
Сестра смотрит на него: неужели же он не понимает, что они делают?
Цыганка:
— Песни пела.
Песни? В лесу? Давайте, раздевайте ее совсем.
Сестре его явно не по себе.
— Таблеточки назначь, получше, — просит цыганка.
Раздевайте, раздевайте. По кабинету распространяется удушливый запах.
— Обрабатывать надо опрелости, — злится сестра. — Ну и вонь!
Протрите вот тут. И тальком. Нечистая бабка, что говорить.
Он смотрит ее на аппарате — сердце большое, хорошо видно. Действительно, сильно больная. Положить бы. Сейчас он распорядится. Сестра возражает: пропадет что-нибудь из отделения, а кому отвечать?
Бабка и сама не хочет лежать в больнице:
— Таблеточки получше назначь...
Ладно, пятнадцать минут еще есть, йод давайте, спирт, катетер, перчатки стерильные, новокаин. Ставит метки на спине у нее фломастером:
— В легких вода накопилась, сейчас уберем.
Сестра качает головой: только посмотреть просили, Губер будет не рад. — А мы ему ничего не скажем, вашему Губеру. Проводить через кассу не надо.
Что там бабка бормочет? — Она не русский человек, не может терпеть боль. — И не придется, укольчик и все.
Пусть жидкость течет, он напишет пока.
Полтора литра в итоге накапало.
— Легче дышать?
То-то же. Он дописывает заключение. — Пусть дадут ей таблетки получше, — просит цыганка, снова уже одетая, — и будет им счастье.
— Счастье? — кривится сестра.
Он знает, что она хочет сказать: от цыган — все несчастья. Нет, он кривиться не станет — не из суеверия, а так.
— Таблеточки получше, — повторяет бабка, — и чтоб сочетались, ты понял... — зубы оскаливает золотые.

С чем они должны сочетаться? С гашишем? Или с чем пожестче? Бабка пугается: зачем так говорить? Рюмочку она любит, за обедом. — Ну, если рюмочку... Да, отличные таблетки. И сочетаются.

Счастье, — думает он, — надо же! Счастье.

Цыганка принимается совать ему мятые деньги. Там одни десятки, ясно видно. Он отводит ее руку — какая, однако, сильная! — а сам понимает: все дело в сумме, были бы тысячные бумажки, он бы, возможно, взял. Так что гнев его — деланный, и всем это ясно, кроме, как он надеется, медсестры.

— Разве можно в таком виде к доктору приходиться? — возмущается та, вы проводив цыганку.

Медсестра у него — нервный, западный человек. Окна открыла настежь, прыскает освежителем. Всё, он пошел.

— Вы меня извините, — произносит сестра, — но таких вот, как эта, вот честно говоря, ни капельки не жалко. Таких, я считаю, не следовало бы лечить.

Сейчас она скажет, что Гитлера в принципе не одобряет, хотя кое в чем... Какой там западный человек, просто дура! Выходя уже из больницы, обгоняет цыганку. Та хватает его за рукав: дай погадаю! — Нет, мерси. Дорога дальняя, он и так знает, что его сегодня — причем уже — ждет.

Он ездит в Шереметьево на машине — и долго, и расточительно, но он привык, хотя всех-то вещей с собой — медицинская сумка, книжка, рубашка, трусы-носки. Все, кроме сумки, он сегодня забыл, почти что сознательно: так и не придумал себе чтения, а переоденут его бостонские друзья — после поездок к ним в его гардеробе всегда происходят улучшения. Читать он не будет, слушает музыку, у него с собой ее много и на любое состояние души.

В Шереметьеве его ждут огорчения. Во-первых, что, впрочем, не страшно, больная досталась тяжелая — старушка с ампутированными ногами, слепая, с мочевым катетером, у старушки сахарный диабет. Предстоит колоть инсулин, выливать мочу, каталки заказывать. С ней, однако, разумный как будто муж — ничего, долетим. Много хуже другое — он промахнулся с Портлендом. В билете не Портленд, штат Мэн, меньше двух часов на машине от Бостона, а другой Портленд, штат Орегон, на противоположной стороне Америки.

Надо же так обмишуриться, тьфу ты! Он рассказывает окружающим — люди из таинственной организации, отвечающей, в частности, за билеты, смеются: не такого уровня несчастье, чтобы сочувствовать. Эх, предупредить друзей — вот расстроятся! Он из Нью-Йорка им позвонит. Не несчастье, но лажа.

Ребята из службы безопасности — «секьюрити», русские — знают его давно, не шмонают, а так — поводят руками в воздухе: «Взрывчатые вещества, оружие есть?» — улыбаются, он и им рассказывает про передрагу с Портлендом. — Портленд, — говорят — ничего, не так страшно, вот Окленд есть — в Новой Зеландии и в этой, ну, где? — он подсказывает: в Калифорнии, — да, так один мужик... — Простые ребята, но есть в них какой-то шарм. Ему нравится постоять с ними, поразговаривать. Опять-таки, униформа их, видимо, действует.

Сейчас он — в который раз? — выслушает историю про то, как американка везла с собой кошечку — их помещают в специальные клетки, сдают в багаж, — а кошечка сдохла, грузчики шереметьевские ее выкинули, чтобы не было неприятностей, а в клетку засунули другую, живую, кошку, отловили тут где-то, и американка настаивала на том, что не ее это кошка, потому что ее была — мертвая, и везла она ее на родину хоронить. Возвращалась откуда-то. Из Челябинска. В прошлый раз было наоборот — американка с дохлой кошкой прилетела из Лос-Анджелеса. В сегодняшнем виде история выглядит естественней, и все равно она, конечно, выдуманная, и американцев ребята называют америкосами и «пиндосами» — новое слово, нелепое, «секьюрити» и в Америке не были, — но каждый раз он смеется. Всё, пора в самолет.

— Когда воротимся мы в Портленд, нас примет Родина в объятья! — поет один из парней.

— Прокатился бы я вместо тебя, доктор, — говорит другой мечтательно, — на небоскребы на ихние посмотреть.

Нет, ребята, медицина — это призвание.

— Прощай, немытая Россия! — произносит молодой человек, сидящий через проход.

Стандартный для отъезжающего текст — при нем его произносили не раз. Вначале, когда начинал летать, ждал человеческого разнообразия — эмиграция, серьезный шаг, потом понял: работа — как в крематории или в ЗАГСе, ограниченный набор реакций.

Взлетаем. Перекреститься — тихонько, чтобы не думали, что ему страшно и не пугались, на самом деле — ничего от тебя не зависит. За рулем, на скользкой дороге, в темноте — намного страшней.

Самолет неполный, но не сказать чтоб пустой. Два места у окна — его. Следующие двое суток предстоит провести в пути. Два дня жизни в обмен на шестьсот долларов. Друг отца, бывший политзэк, рассказывал: труднее год сидеть, чем пятнадцать лет, год — только и ждешь, когда выпустят, не живешь. Что же тогда говорить про поездку длиной в два дня?

Надо бы встать, проведать больную. Или еще подождать? Не лень даже, а профессиональная неподвижность, он всегда презирал ее в реаниматологах.

Есть в этом странном деле и свои способы сплутовать. Например, сделать вид, что ты здесь случайно, по своим делам летишь: пассажиру плохо, а тут русский доктор, и лекарства — чудо! — с собой. Стюардессы дарят таким докторам шампанское, разные милые вещи, помогают всячески. А разоблачат — и что? — так, чуть неловко. Они иностранцы, и он для них — иностранец. Если же здоровье подопечного позволяет, можно и не лететь ни в какой Портленд, проводить до самолета — счастливого вам пути, *have a good flight!* — и застрять в Нью-Йорке на лишней денек. Имеющим наглость так поступать он завидует, но сам повторять их трюки не станет: мало ли — случись что, да и от слепой безногой старухи разве сбежишь? Его еще, между прочим, просили за баптистами присмотреть — им тоже до Портленда. С баптистами нетяжело: ни на что не жалуются, таблеток не пьют, да как-то и не болеют особенно,

бестолковые только, детей целый выводок — вон, сидят в хвосте — раз забыли ребеночка одного в Нью-Йорке, потерялся в аэропорту, они и это легко приняли — добрые люди найдут, дошлют.

— Как себя чувствуете? — измеряет старушке давление, пульс.

Она в полусне. Отвечает муж:

— Как вы пишете в таких случаях — в соответствии с тяжестью перенесенной операции.

Что за операция? — Пятнадцать часов в поезде из Йошкар-Олы.

Мужа зовут Анатолий. Без отчества.

— В Америке нету отчеств.

Действительно нету. Страна забвения отчеств. Самолет — уже американская территория.

Ему хочется знать, что согнало их с родных мест, ему интересны люди, но, во-первых, он борется с привычкой задавать посторонние вопросы, на которые, как считается, у врача есть право, — отчего перебрались туда или сюда? чем занимаются дети? даже — что означает ваша фамилия? И, во-вторых, он боится стереотипной истории. Жили себе и жили, но тут сестра жены, скажем, или его двоюродный брат говорят: подайте бумаги в посольство, на всякий пожарный. Подали и думать забыли, и разрешение, когда пришло, игнорировали. Наконец, бумага: сейчас или никогда. Слово на людей действует — «никогда».

У Анатолия все иначе: у жены появилась почечная недостаточность, скоро понадобится диализ. Надо ли еще объяснять? В Америке сын, инженер.

— В Йошкар-Оле совсем плохо с медициной, считайте — ее просто нет.

Он кивает, думает: эх, если б раньше уехали, а так, конечно, старушка умрет на высоком технологическом уровне, вряд ли ей сильно помогут, — но говорит:

— Да, правильно. Правильно сделали, что поехали.

— А Портленд — большая глушь? — спрашивает Анатолий. Хорошая улыбка у него.

— Как сказать? В сравнении с Йошкар-Олой...

— Бывали в Йошкар-Оле?

Он отрицательно мотает головой.

— А в Портленде?

— В этом Портленде — тоже нет.

— В Америке — двадцать один Портленд. Я посмотрел. Наш — самый крупный.

Анатолий заговаривает со стюардессами, пробует свой английский. Вполне, кстати сказать, ничего. Старомодно немножко, а так — даже очень.

— Благодарю вас, польщен. — Вообще-то он сорок лет английский в вузе преподавал.

Не пора инсулин делать? Нет, пусть он не беспокоится: Анатолий сам. И инсулин сделает, и мочеприемник опорожнит. Отлично. Если что, они знают, как его разыскать.

Снизу земля. Канада уже? Смотрит на часы: нет, Гренландия. Еда, немножко сна, кинишко ни про что. Как там баптисты? Помолились, поели, спят. Позавидуешь.

Наконец-то. Первые десять часов убиты. Самолет приступает к снижению.

Нью-Йорк: ожидание коляски, возня с бумажками, мелкое недоразумение с офицером иммиграционной службы.

— Сколько лет работаете врачом? — спрашивает.

— Уже десять. С двадцати двух. Нет, трех.

— Bullshit, — говорит офицер. Галиматня. Такого не может быть. Русские обязаны служить в Red Army.

Он пожимает плечами. Псих. Можно идти?

Анатолий догоняет его в вестибюле: он все объяснил офицеру. Про военную кафедру и т. п. Офицер просил передать извинения. Удивительно. Извиняющийся пограничник. Точно, псих.

В остальном все идет гладко. Они получают багаж — Анатолия, старушки, баптистов — и снова сдают его — в Портленд. До отлета еще три часа, пусть они посидят пока, он вернется. Надо друзьям позвонить, поменять билеты.

Найти автомат становится все сложнее: теперь у многих тут, включая личных с виду людей, сотовые телефоны. У нас они только у торгашей, у Губера есть такой... Друзьям позвонил, расстроил их, в Нью-Йорк они, разумеется, не приедут. Когда теперь? — Как всегда, через месяц. В следующий раз — точно.

А билет поменять надо так, чтоб ночевать в самолете. Утром он походит по Нью-Йорку, посидит в Центральном парке, в «Метрополитен», если силы будут, зайдет, купит своим подарки. Про «Метрополитен» он по опыту знает, что не зайдет.

Билеты меняют посменно два человека — белый и негр — ребята-врачи прозвали их Белинским и Чернышевским. С Чернышевским не сладить — тупой, но сегодня — ура! — Белинский. Быстро и без доплаты: обратный рейс через четверть часа после прибытия в Портленд. За опоздание можно не волноваться: туда и сюда — одним самолетом. Хоть тут повезло. И еще: Белинский может сделать билет в первый класс, в одну сторону, в счет его миль. Хочет он этого? — Да.

Самолет до Портленда почти совершенно пуст. А в первом классе он и вовсе единственный пассажир. Стюардесса мужского пола, стюард, можно, наверное, так выразиться, — Анатолий подсказывает: бортпроводник — приветствует их у входа. Красавец-мужчина — в ухе серьга — как там? — left is right? — действует тут это правило? — и пахнет изумительно одеколоном. Ароматный стюард! Конечно, какой там бортпроводник!

— Знаете что, — предлагает стюард, — давайте посадим леди и мужа ее рядышком с вами.

Замечательная идея.

— Видите как? — ему хочется, чтобы Анатолию в Америке нравилось.

Стюард помогает старушке усесться, помогает скорей символически, двумя пальчиками, но все же. Хвалит ее косынку: красивый цвет. И то сказать, если б у нас безногая старушка решила полететь в самолете, то ее, вероятно, и на борт не пустили бы: зачем ей летать? Во всяком случае, она бы до самолета не добралась. А первым классом у нас вообще летают одни жлобы.

— How can I harass you today, sir? — а стюард-то еще и с юмором.

Этого, кажется, даже Анатолий не понял. Тема харасмента — домогательств — в Америке очень чувствительная, все у них так — кампаниями. Вот и переделал стюард «how can I help you?» — чем могу вам помочь?..

— Понятно, понятно. Лучше перевести: «чем могу вам служить?» — мягко поправляет его Анатолий.

Тоже верно.

Удивительно, как такие мелочи поднимают настроение. Итак, что будем пить? Он вопросительно глядит на Анатолия — тот не осудит его? — все-таки доктор при исполнении — и заказывает: «Кампари» со льдом для себя и для Анатолия, апельсиновый сок — для его жены.

— Первый раз пьянствую в самолете, — говорит Анатолий. — Мы с вами теперь — небесные собутыльники.

Чуть-чуть вермута, пьянством это, конечно, не назовешь.

За окном — полная уже темнота, спереди за занавеской что-то жарится и вкусно пахнет, инсулин сделали, таблетки все дали, в руках стаканы — за новую жизнь! — и тут случается неприятность. Вторая за сегодняшний день после промашки с Портлендом, псих-пограничник не в счет.

Он заказывает еду — на всю компанию — себе, Анатолию, старушке — и щеголяет названиями блюд, переводит с английского и обратно — и вдруг их милейший стюард заявляет, что поскольку билет в первый класс имеется лишь у доктора, то господам, которых он сопровождает, полагается только закусочка — snack. Как говорится, nothing personal — ничего личного, таковы regulations, правила.

Именно, ничего личного. Он требует себе тройную порцию еды, дополнительных вилок, ножей, подходит еще стюардесса, морщит лоб, трясет головой, что же они, не понимают?

— Оставьте их, они правы, — просит Анатолий. Тоже мне — Грушницкий! — Оставьте. После нашего бардака, если что-то делается по правилам...

Нет уж, он им покажет mother of Kuzma!

Но, как всегда в таких случаях, ни личность Кузьмы, ни кто его мать, американцам узнать не удастся. Выкрикивая свои резкости, он в какой-то момент нелепо оговаривается, он и сам не понимает, где именно, но, конечно, безграмотная ругань, да еще с акцентом, смешна. Стюард — сука! — широко улыбается, стюардесса отворачивается, от смеха подергивает плечами. Остается махнуть рукой.

Скандал разрешается — никому уже не хочется есть, но что-то им все же дают, и они едят — и часа полтора спустя он встает по нужде и через занавесочку, отделяющую первый класс от обычного, слышит, как жалуется стюард: почему они так пахнут, русские? Какой-то специфический запах.

Ты бы попробовал — из Йошкар-Олы в Москву, потом Шереметьево, семнадцать часов лететь... Нашел дезодорант — в первом классе все есть, — опрыскался. Унизительно. Ладно, плевать.

Вот и Портленд. Командир корабля от лица экипажа благодарит вас... Баптисты уходят вперед. Он, старушка и Анатолий — последние в самолете, сейчас придет каталка. Старушка — не такая уж и старушка, шестьдесят пять лет — просит мужа о чем-то тихо. Причесать ее. Он забирает у них все, что есть, выходит наружу, в холл. Вот он, их сын, один. Достойный, по-видимому, человек. Уставший, тут много работают, очень много.

Встреча сына с родителями. Мать слепа и без ног — он ее видел такой? Объять с отцом — лучше отвернуться, не слушать и не подглядывать. Тут не принято жить с родителями. А если бы инженеру и захотелось, жена б не дала, старики должны жить отдельно. Поместят их в хороший дом, язык не повернется назвать его богадельней. «Нам и самим так удобней», — говорят старики. Сползание со ступеньки на ступеньку, в Америке все продумано. Его подопечные, впрочем, начнут уже с самого низа.

— Это наш доктор, — говорит Анатолий сыну.

— Очень приятно, — рукопожатие, усталый рассеянный взгляд.

Все, прощайте, не до него им теперь, да и ему через пятнадцать минут возвращаться. И тут вдруг — забыли чего? — баптисты:

— Доктор, пойдемте, пойдем!

Двое юношей увлекают его за собой — туда, туда! — по эскалатору вниз. Что случилось? Он прибегает в зал выдачи багажа и ищет глазами лежащее тело — ничего, все стоят.

Багаж у них потерялся, вот. Братцы, — они ведь все «братцы» — стоило ли его звать? Некому заполнить квитанции? Вас же встречают.

Встречающих не отличить от вновь прибывших: те же, не омраченные ничем лица. Никто не знает английского? Не могут адрес свой написать? А говорят еще: страна забвения родины. Нет, даже букв не знают. Давно в Америке? — Четыре года.

— Американцы, — объясняет один из встречающих, — такие добрые! Они с нами как с глухонемыми.

Багажа у баптистов — тридцать шесть мест, по два места каждому полагаются.

Пока он возился с бумажками, самолет его улетел. Следующий — ранним утром, через шесть с половиной часов, он опять без труда меняет билет, он и должен был утром лететь. Теперь куда — в гостиницу? Пока доедет, пока уляжется — пора будет подниматься. Да и стоит гостиница долларов пятьдесят. Как-нибудь тут. Душ принять, конечно, хотелось бы — ничего, переобьемся, переодеться-то не во что.

Другой конец Земли — само по себе это давно перестало радовать. Он бывает в городах с красивыми названиями — Альбукерке, например, или Индианаполис, и что? Везде — в Нью-Йорке ли, в Альбукерке, тут ли — одно и то

же — красные полы, красно-белые стены, идеальная ровность линий, тонов, ничто не радует глаз слишком, и ничто его не оскорбляет. И всюду, как часть оформления, негромко — Моцарт, симфонии, фортепианные концерты, не из самых известных, в основном вторые, медленные, части. Кто играет? Орегон-симфони, Портленд-филармоник, какая разница? Не эстрада, не блатные песенки. А как-нибудь так устроиться, чтоб — совсем тишина? Разборчивый пассажир — пожалуйста, никто не удивлен — можно посидеть в комнате для медитаций. Посидеть, полежать. Медитаций? Именно так, размышлений, у нас вон в аэропортах часовни пооткрывали — но поразмышлять и неверующему полезно, опять ничьи чувства не оскорблены.

— А курить можно в вашей комнате медитаций? — вдруг спрашивает он, сам себе удивляясь.

— Курить? — Он с ума сошел? — Курить нельзя ни в одном аэропорту Америки.

Вопрос про «курить» отсекает всякую возможность неформального разговора, показывает им, что он человек опасный. Ладно, ладно, он будет курить в отведенных местах, на улице.

Аэропорт совершенно пуст. Можно хоть сумку свою тут оставить? — Нет, ручную кладь надо брать с собой. — Что, каждый раз? Даже не пробовать тут улыбаться, *all jokes will be taken seriously*, вологодский конвой шутить не любит.

Порядок есть порядок, он понимает. У них и медицина от этого — изумительная, в сто раз лучше нашей, и все же — глупо. Укладывать вещи на черную ленту помогает ему толстый седой негр, без неприязни, работа такая. Кажется, негр ему даже сочувствует. Наверное, сам потому что курит.

— Опоздал, теперь до утра, — объясняет он негру, возвращаясь с улицы второй уже или третий раз.

— *Just one of those days, man...* — повторяет тот.

По-русски сказали б: «Бывает». У негра глубокий бас.

Он доходит до места, откуда видно шоссе — там едут редкие машины, не быстро и не медленно, у верхней границы дозволенного, — и вспоминает, как перемещался по окрестностям Бостона с друзьями, а иногда и один. И в каждой встречаемой им машине, он знал, сидит человек, ценящий свою жизнь не меньше, чем он — свою, — и жизнь, и сохранность автомобиля, и оттого, как правило, осторожный, предупредительный, не презирающий себя за готовность уступить. Стоит ли прожить свою жизнь или хотя бы часть ее — почему-то хочется сказать: последнюю — тут? Тут правильно выбрасывают мусор и правильно ставят машины, научиться этому можно, проще, чем английскому языку. Не в одной безопасности дело. Он представляет себя пожилым, почему-то совсем одиноким — может, оттого что в данную минуту одинок — в маленьком местечке на океане, у соседей его красные грубые лица, но сами они не грубы, они говорят про него: здесь живет доктор такой-то, им приятно, что их сосед — врач. Они устояли в жизни, и он устоял, а сколько раз могли сбиться!..

От усталости мысль его сворачивает в сторону: цыганка сегодня утром ему напророчила счастье. Будешь тут счастлив! Есть ли в Америке цыгане? — они, кажется, всюду есть, — нет, связь с доисторическим временем здесь обеспечивают индейцы — впрочем, индейцев-то он за годы уже полетов и не видал — одни диковинные названия наподобие Айдахо, — и вот он снова проходит досмотр и уже лежит на красном полу, всюду линолеум, тут в комнате медитаций — промышленный ковролин, и думает: я участвую в бессмысленной деятельности, а вечность есть, конечно, прав был отец, есть вечность, и осмыслено только то, что имеет проекцию в эту самую вечность, свою в ней часть. Лечение людей — неважно каких — имеет проекцию в вечность, хоть и живут его пациенты не вечно, а иногда и совсем чуть-чуть. И встреча с друзьями, не состоявшаяся сегодня, — имеет. И слушанье музыки, и разглядывание природы... А остальное — как это его дурацкое зарабатывание денег — what a waste! Отчего английские слова приходят первыми в голову? Ведь не так хорошо он знает язык, да и в русском немало синонимов для «впустую»: даром, втуне, вотще, понапрасну, все... Много слов: вхолостую, попусту, без нужды, зря, почему зря...

Все, он спит.

Спит он не очень долго, часа полтора, и пробуждается от страшного шума: в комнату въезжает огромный, невиданный пылесос. Управляет им черноволосый маленький человек — мексиканец, наверное, — в наушниках, чтоб не оглохнуть. Наушники оторочены искусственным розовым мехом — как будто индеец с перьями на голове.

Он коротко смеется и тут же делает вид, что спит. Ужасный грохот, как можно спать? Ну не спит, медитирует, зачем-то ведь есть эта комната? Неохота вставать. Давай-ка, катись отсюда, индеец, и без тебя тут негрязно! Тот быстренько проходит своей жуткой машиной — от него буквально в нескольких сантиметрах — все, снова один, тишина.

Он смотрит на часы, закрывает глаза и вызывает образы тех, кто его условно любит. Такой управляемый сон, почти целиком подконтрольный сознанию — и все-таки управляемый не совсем.

Ему хочется видеть отца — вот он, отец. Он принимает отца целиком, не как носителя свойств и качеств. Они хорошо известны ему — кому же еще их знать, как ни сыну? — но к самому отцу, к тайне личности, не имеют словно бы отношения. Добрый, щедрый, самоотверженный — да, конечно, но все это может он сказать, например, и о своих друзьях.

— Как же так? — говорит он отцу. — У меня есть душа, есть талант — не к одной медицине, ты знаешь, но вот — и к музыке был талант, определенно ведь был, я и теперь люблю музыку больше всего, в наше время это не так часто, и что же? Ездить в бессмысленные путешествия, потому что на главной работе не платят, лежать на красном полу, завидовать людям со строгими лицами и определенностью в жизни? — Он, видно, здорово устал, потому что разжалобился до слез.

А чего он, вообще говоря, плачет? Ну, устал, не тот Портленд, друзей не увидел? — еще увидятся, ночь на полу? — сэкономил сколько-то долларов, да и здесь вполне чисто, а что нет отца — одиннадцать лет прошло, а не привыкнуть никак.

От слез становится легче, он смотрит на себя немножко со стороны и видит комизм положения: взрослый дядька в слезах, красный пол, медицинская сумка под головой, и вскоре опять засыпает. И снится ему теперь уже полноценный сон: они с отцом сидят возле поломавшейся машины, рядом с тем местом, куда надевается колесо, сломалась — как называется эта штука? скажем, ступица или втулка, — ясно, что ничего починить нельзя — ни запчастей нет, ни навыков, — они в свое время часто оказывались в таком положении, — просто сидят на земле, и отец говорит ему: «Ты мой родной». Дело не в словах, разумеется, а в содержании, во взгляде отца, который означает, что все идет правильно, как должно идти, и что отцу жалко, что сын его одинок.

Он опять на некоторое время задерживается между сном и явью, рывком встает, умывается в чистейшем сортире, как долго он путешествует — щетина выросла! — ни бритвы, ни щетки нет, скорей — кофе, еще успеть покурить — надо же, совсем забылся он в комнате медитаций, опять проверочка багажа, — мелочь из карманов, ключи, всё надо выгрести, — служба безопасности успела смениться, но дело не пострадало — тщательнейший досмотр — не хватало на утренний рейс опоздать. Всё, он уже в самолете, рейс по маршруту Портленд — Нью-Йорк. Пассажиров в салоне — не больше пятнадцати—двадцати, и пожилая невыспавшаяся стюардесса им объявляет: «Если вы хоть раз путешествовали самолетом начиная с тысяча девятьсот шестьдесят шестого года, — как раз он родился, — то вам не надо показывать, как пристегнуть ремень». — Очень милое, артистичное отступление от правил.

Он смотрит в иллюминатор на капельки воды, разбегающиеся от ветра. Встреча с отцом не была, прямо скажем, громадной. Даже не обещание встречи — так, сон, всего лишь психический феномен, а все равно он чувствует себя ребенком, который долго-долго плакал, а потом на него посмотрели взрослые, ласково, так, чтоб он понял, что давно прощен, и слезы высохли, только вокруг глаз еще побаливает, но хочется уже движения, игрушек, еды.

Можно ему еще порцию? — Нет, разве что кто-то откажется. Порции — по числу пассажиров. — Спасибо, не беспокойтесь, он сыт.

Со своей щетиной и двухдневной немывтостью он, наверное, подозрителен, а возможно, и запах уже, американцы чувствительны к запахам, — ничего, наплевать, самому незаметно, как не слышен ему его русский акцент — развалился на трех сиденьях, ноги закутал пледом, в наушниках — Мендельсон, фортепианное трио, несовершенная запись, но какая проникновенная игра! Шесть часов передышки перед Нью-Йорком — городом желтого дьявола, кто назвал так Нью-Йорк?

По прилете им овладевает экономическая распушенность, и он покупает домашним нелепые дорогие подарки, а уже в самолете домой, еще на земле, совершает поступок, которого будет стесняться.

Обстоятельства таковы. Самолет переполнен, он сидит у окна рядом с запасным выходом — дефицитное место, заранее побеспокоился, тут больше простора ногам — и на сиденье рядом с ним плюхается господин средних лет, который, во-первых, совершенно пьян, а во-вторых, весит, вероятно, килограмм сто семьдесят — только среди американцев такие встречаются. Господин истекает потом, горячие бока его свисают далеко по краям сиденья. Понятно, что изменений к лучшему не предвидится, так будет до самой Москвы.

Он вылезает из-под горы жира и, не успев придумать, что скажет, протискивается к стюардессе и сообщает, что сосед его пьян и что это, с его точки зрения, создает угрозу: в случае бедствия поможет ли нетрезвый человек остальным пассажирам выбраться?

— Сэр, — спрашивает толстяка стюардесса, — не угодно ли быть пересаженым? Нет? — Она просит его говорить громче. — Нет? — Ну тогда она вызывает полицию, и господин полетит в Москву в это же время на этом же месте, но завтра.

Надо вмешаться: погодите, он ручается... Освободившись из-под туши, он яснее соображает, что натворил, ему тоже приходилось употреблять алкоголь, в меньших, конечно, количествах, но, возможно, его сосед перед полетом волнуется, многие боятся летать. Никто в его сторону и головы не повернул, а толстяк, только услышав слово «полиция», встает и плетется за стюардессой в конец салона.

Стыдновато. По-американски повел себя. Ладно, что сделано — то сделано, никто не умер.

На место пьяного толстяка садится женщина лет сорока пяти, свеженькая, в веснушках, их руки соприкасаются на подлокотнике, через рубашку он ощущает приятный холод. Вот и славно, он примет снотворное, сейчас им дадут вина — теперь-то уж он заснет и проспит до Москвы. Вина ему, однако, не достается.

— А в случае бедствия вы сумеете оказать пассажирам помощь? — напитки развозит уже знакомая ему стюардесса: не все американцы, стало быть, одобряют стукачество.

Посмотрим, подействует ли таблеточка с соком. Вполне бы подействовала, но — соседка. Допила свою диетическую пепси-колу, болтает льдом в стаканчике и говорит, говорит, говорит.

Она из Нью-Йорка, в Россию летит впервые, ей хочется больше знать о стране, пусть он ее просветит. Он в полусне произносит какие-то несуразности, но соседку не удержать. С России она переключается на Америку, потом на весь мир, наконец — на себя. Разговор в самолете со случайным попутчиком — популярный жанр. Вместо психоанализа, вместо исповеди. Она недавно рассталась с возлюбленным: тот подкупал ее дорогими подарками — последней каплей стал «Ягуар».

— Вам бы понравилось, если б женщина подарила вам «Ягуар»?

Надо подумать... Он прикрывает глаза, а она все журчит — об отвратительных привычках бывшего друга, о том, в какие тот водил ее рестораны, какие сигары курил.

О, он, кажется, знает, как положить предел ее красноречию.

— A woman is only a woman, — говорит он: с женщины — что возьмешь? — but a good cigar is a smoke, — а сигара — курение, кайф.

Но соседка спокойно кивает:

— Киплинг.

Ей известны эти стихи, она Принстон заканчивала, creative writing. Так вот, этот Киплинг автомобили дарил, а ребенка ей сделать отказывался. Радикальный метод — стерилизация, распространенный в Америке способ, как избежать детей. Семьявыносящие протоки Киплингу перерезали, а теперь и она уже не сможет зачать.

Вот зачем она летит в Россию — девочку удочерить. Россия, Казахстан, Румыния — несколько мест, где можно найти еще белых детей. Он смотрит по новому на попутчицу.

Она подает ему руку:

— Меня зовут Джин.

Он называет себя и видит, что лицо его новой знакомой немножко меняется. Полуулыбка — не то чтоб загадочная. Скажет — не скажет? Скажет, конечно, куда она денется? Нет, молчит.

— Ну, признавайтесь, кто? — собака? кот?

— Хомяка моего так звали, — признается Джин.

Какая милая! Оба хохочут.

Она рассказывает о процедуре удочерения — будет суд, показывает фотографию девочки, одиннадцать месяцев, в Москве ее ждет адвокат, они вместе поедут в Новосибирск, все предусмотрено — даже русская няня — зачем? — Девочка до сих пор слышала русскую речь, вот зачем.

Кое-что Джин не предусмотрела. Он заполняет для нее таможенные декларации, и тут выясняется, что больше десяти тысяч долларов провозить нельзя. Джин взяла с собой больше, вот так. Что ж, есть два выхода: либо спрятать деньги поглубже, либо часть передать ему. Он дождется ее у стеклянных дверей, багажа у него нет.

— Я вам, разумеется, верю... — произносит она задумчиво.

Следовательно, не верит, но деваться ей некуда. Он берет ее деньги: не бойтесь, Джин. Разговор сам собой прекращается. Обоим надо поспать.

Самолет подлетает к Твери, безоблачно, он пускает ее к окну: посмотрите, какая грусть. Сам он уже не с Джин. Вот он выйдет из самолета, на вопрос таможенников «что везете?» — махнет рукой: «Говно всякое», — те улыбнутся, как смогут, — наш человек, иди. У стеклянных дверей он и Джин попрощаются — самолетные знакомства не предполагают развития, но обменяются телефонами, адресами. Он сядет в машину и снова подумает про отца. Автомобильные поездки почему-то дают это мимолетное чувство встречи. Выедет в город — агрессивный, людоедский в будни и такой — ничего, почти свой — в выходные, доберется до Манежной площади — когда отец был жив, движение по ней происходило в обе стороны, теперь в одну, — он расскажет отцу и об этом.

Он действительно прилетает в Шереметьево, садится за руль, разворачивается, с силой бьется бампером о бетонную тумбу, она расположена как раз на такой высоте, чтоб ее не заметить. Твою мать! Здравствуй, Родина. Все заработанное на безногой старушке — псу под хвост. Он огорчается меньше, чем обычно от материальных потерь, хоть бампер расколот и жижа из-под капота капает на асфальт. Пробует пальцем — зеленая, радиатор. Двигатель греется, эх, не заклинил бы! В центре, на светофоре, глушит машину, закрывает глаза — это не сон уже, почти обморок — и сзади что есть мочи гудят ему, объезжают. Не домой надо ехать — к механику.

Отличный механик и лишнего не берет, с него во всяком случае, и сразу понимает что к чему — институт заканчивал, поэтому. Ну, тут и так ясно. К нему механик снисходителен: интеллигент, дурачок, жизни не знает, и не надо ему ее знать. Сейчас чего-нибудь снимет с чужой машины, а пока что ворчит:

— Какашка французская, — про его «Рено». — Шурик! — орет вдруг. — Шурик!

Здесь работают киргизы, не киргизы — эти, как их? — уйгуры, без регистрации, их тут зовут Шуриками, они, как и сам механик, как все здесь, безвылазно в мастерской.

Вопит какая-то дрянь по радио. Страшная, неправдоподобная грязь. Под ногами, везде — масло, тряпки, инструмент. Разобранные двигатели, снятые двери, подкрылки, крылья: насколько человек совершеннее автомобиля, особенно изнутри!

— Крыс нет? — он боится крыс.

— Нету, — успокаивает его механик, — нет крыс, но скоро появятся. — Кот, который жил тут, на прошлой неделе сдох.

Где бы приткнуться? — неловко стоять у людей над душой — он забивается в дальний угол, устраивается на просиженное автомобильное кресло, механик матерится непрерывно, с изысками, вычурно, перекрикивая радио, так матерятся лишь выходцы из культурного слоя, он надевает наушники — Мендельсон, кусочек второго трио, у Мендельсона их два — и вдруг понимает, что счастлив.

Как остаться в этом состоянии? Он знает: в лучшем случае оно продлится несколько минут и уйдет, и удерживать его бесполезно, да и сама попытка удержать счастье уже означает ее неуспех.

Но оно — длится. Музыка? Может быть, дело в музыке?

Нет, музыка кончилась, а он все еще счастлив.

апрель 2010 г.